

Сумбур-трава

Лежит солдат Федор Лушников в выздоравливающей палате псковского военного госпиталя, штукатурку на стене колупает, думку свою думает. Ранение у него плевое: пуля на излете зад ему с краю прошила, - курица и та выживет. Подлатали ему шкурку аккуратно, через пять дней на выписку, этапным порядком в свою часть, окопный кисель месить. Гром победы раздавайся, Федор Лушников держись!..

А у него, Лушникова, под самым Псковом, - верст тридцать не боле, - семейство. Туда-сюда на ладье с земляком, который на базар снеток поставляет, в три дня обернешься. Да без спросу не уедешь, - военное дело не булка с маком. Не тем концом в рот сунешь, подавишься...

Подкатил он, было, на обходе к зауряд-подлекарю, - человек свежий, личность у него была сожалеющая.

- Так и так, ваше благородие, тыл у меня теперь в полной справности, в другой раз немец умнее будет, авось с другого конца в самую голову цокнет...
А

пока жив, явите божескую милость, дозвоьте семейство свое повидать, по хозяйству гайки подвинтить. Ранение мое, сам знаю, не геройское, да я ж тому не причинен. По ходу сообщения с котелком шел, вижу, укроп дикий над фуражкой, как фазан, мотается. А нам суп энтот голый со снетком и в горло не шел. Как так, думаю, укропцем не попользоваться? Вылез на короткую минутку, только нацелился - цоп! Будто птичка в зад клюнула. Кровь я свою все ж таки, ваше благородие, пролил. Ужели русскому псковскому солдату на три дня снисхождения не сделают?..

Вздохнул подлекарь, глазки в очки спрятал. "Я, - говорит, - голубь, тебя б хочь до самого Рождества отпустил, сиди дома, пополняй население. Да власть у меня воробыная. Упроси главного врача, он все военные законы произошел, авось

смилуется и обходную статью для тебя найдет!" Добрая душа, известно, - на хромой лошадке да в кустики.

Сунулся Лушников к главному, а кремь тихой просьбой не расколешь.

Начальник был формальный, заведение свое содержал в чистоте и строгости: муха

на стекло по своей надобности присядет, чичас же палатной сестре разнос по всей линии.

- Энтю, - говорит, - пистолет, ты неладно придумал. У меня тут вас, псковичей, пол-лазарета. Все к своей губернии притулились. Ежели всех на бабий

фронт к бабам отпускать, кто ж воевать до победного конца будет? Я, что ли, со

старшей сестрой в резерве? У меня, золотой мой, у самого в Питере жена-дети,

тоже свое семейство, некупленное... Однако ж терплю, с должности своей не сигаю, а и я ведь не на мякине замешан. Крошки с халата бы лучше сдул, ишь обсыпался, как цыган, махоркой!..

Утешил солдата, нечего сказать, - по ране и пластырь. Лежит Федор на койке, насупился, будто печень каленым железом проткнули. Сравнил тоже, тетерев шалфейный... Жена к нему из Питера туда-сюда в мягком вагоне мотается,

сестрами милосердными по самое горло обложился, жалованье золотыми столбиками,

харч офицерский. Будто и не война, а ангелы на перине по кисейному озеру волокут...

Сестрица тут востроглазая у койки затормозилась.

Куриный пупок ему из слабосильной порции для утешения сунула, да из ароматной трубки вокруг побрыскала. Брыскай, не брыскай, - ароматы от мук не избавят.

Вечер пал. Дневальный на стульчике у двери порядок поддерживает, храпит, аж пузырьки в угловом шкафчике трясутся. Сестра вольную шляпку вздела, в город

на легких каблучках понеслась, петухов доить, что ли... Тоже и ей не мед солдатское мясо от зари до зари пеленать. Под зеленым колпачком лампочка могильной лампадой горит, вентиляция в фортке жуужит, - солдатскую обиду

вокруг себя наворачивает. Эх, штык им всем в душу, с правилами ихними!..

Хочь

бы в полглаза посмотреть, что там дома... Сердце стучит, за тридцать верст, поди, слышно...

Отвел Лушников глаза с потолка, так бы зубами все койки и перегрыз. Видит, насупротив мордвин Бураков на койке щуплые ножки скрестил, на пальцы свои

растопыренные смотрит, молитву лесную бормочет. Бородка, ровно проборчик ржавый. Как ему, пьявке, не молиться... Внутренность у него какая-то блуждающая обнаружилась - печень вокруг сердца бродит, - дали ему чистую отставку... Лежи на печи, мухоморную настойку посасывай. И с блуждающей поживешь, абы дома... Ишь, какое гунявому счастье привалило!

Отмолился мордвин, грудь заскреб. Смотрит Лушников - на грудке у Буракова какой-то поросячий сушеный хвост на красной нитке болтается.

- Энто что ж у тебя, землячок, за снасть?

- Корешок, - говорит, - такой, сумбур-трава.

- А на кой он тебе ляд, что ты и на войну его прихватил? От шрапнели, что ли, помогает?

Ослабился Бураков. В ночной час в сонной палате и мордвину поговорить хочется. Пошарил он глазами по койкам, - тишина. Солдатики мирно посапывают,

хру да хру, - известно, палата выздоравливающая. Повернулся к Лушникову мочалкой и заскрипел:

- Сумбур-трава! На память взял, пензенским болотом пахнет. По домашности первая вещь. Сосед какой тебе не по скусу, хочешь ты ему настоящий вред сделать, чичас корешок водой зальешь и водой энтой самой избу в потаенный час

и взбрызнешь. В тую же минуту по всем лавкам-подлавкам черные тараканы зашуршат. Глаза выпьют, уши заклеют, хочь из избы вон беги. Аккуратный корешок!

Сел Лушников на койку. Не во сне ли с лешим разговаривает? Ан нет, мордвин самый настоящий, - подштаники казенные, лазаретное клеймо сбоку, все честь-честью.

- А выводной корешок-то у тебя есть?

- Какой выводной?.. Из воды его ж и вынешь, - просуши, да на черной свечке подпали, - все и сгинут. Таракан не натуральный!

Взопрел даже Федор с радости, потому толковый солдат сразу определит, что к чему принадлежит. Умоляет, стало быть, Бураков: дай да отдай, зачем тебе, лисья голова, энтое снадобье? Ты, мол, домой вертаешься, у себя на болоте сколько хошь найдешь, а мне на войне, почем знать, во как пригодится.

Отпихивался мордвин, отпихивался, а потом и сдался.

- Ладно, Лушник. Ты человек добрый, пять ден за меня блевотное лекарство пил. Подарить не могу, давай меняться. Собачьей кожи браслетку с самосветящимися часами отдашь - корешок твой.

Принахмурился Лушников. Часики он у немца пленного на табак выменял: ночью

проснешься, блоха тебя лазаретная взбудит, ан тебе в потьмах сразу известно, который час. А тут накось, сопливой редьке часы отдай!

- Да зачем тебе, лесовику безграмотному, часы? По петухам встаешь, по солнцу ложишься, сосновой шишкой причесываешься. Лучше рубль возьми, - подавись! Серебряный рубль, чижолый!

Однако уперся мордвин. Грудку застегнул, корешок спрятал, морду халатом верблюжьим не по правилам лазаретным прикрыл.

Посидел-посидел Лушников, не выдержал. Что ж, часики дело наживное: авось

и на другого пленного наскочит. Свое семейство ближе... Дернул мордвина за пятку, мало ногу с корнем не вырвал.

- На часы! Лопай! Матери своей на хвост нацепи, чтобы на метле ей летать способнее было. Давай корешок!..

{ {***} }

Завертелась мельница с самого утра. Только это мордвина выписали, койку его освежили-оправили, - шась-верть, - влетает сестрица, носик вишенкой разгорелся, ручками всплескивает.

Ужаси какие! В подвальной аптеке черные тараканы всю вазелиновую смазь съели. По всем столам, чисто, как чернослив, блестят... У нас госпиталь образцовый, откуль такая нечисть завелась, бес их знает. Господи помилуй! За смотрителем побежали...

Дежурный ординатор по коридору полевым галопом дует, шпорки цвякают, ремень перевернут, шашка куцая по голенищам ляскает.

- Смотритель где?.. Весь ночной диван в крупных тараканах, в чернильной банке кишмя кишат. Хоть дежурную комнату закрывай!..

Только прогремел, глядь - дневальный санитар из офицерской палаты ласточкой вылетает да за дежурным ординатором вдогонку:

- Ваше скородие! Дозвольте доложить, господа офицеры перо-бумагу требуют, рапорт писать хотят... В подполковничьем молоке черный таракан захлебнувшись.

Ругаются они до того густо, нет возможности вытерпеть...

И в канцелярии шум-грохот. Стенные часы стали, сволочи, а почему - неизвестно. Полез письмоводитель на стол, в нутро им глянул, так со стола и шваркнулся: весь состав в густых тараканах, будто раки в сачке - вокруг колес цапаются.

Из ревматической палаты толстая сестра на низком ходу выкатывается, фельдфебельским басом орет, аж царский портрет на стенке трясется:

- Да это что же? С какой-то стати в ночных шкапчиках тараканы? Да этак они и за пазуху заползут... Я девушка деликатная, у меня дядя акцизный генерал, часу я тут не останусь!

Матушки мои... Лежит Федор Лушников на коечке своей, будто светлое дитё, ручки из-под одеяла выпростал, пальчиками шевелит, словно до него все это не касающее.

А тут главный врач из живорезной палаты в белокрахмальном халате выплескивается на шум-голдобню. Что такое? Немцы, что ли, госпиталь штурмом берут?.. Смотритель к нему на рысях подбегает, наливной живот на ходу придерживает, циферблат белый, будто головой тесто месил... Он за все отвечает, как не сробеть. К тому ж со дня на день ревизии они ожидали, писаря из штаб-фронта по знакомству шепнули, что, мол, главный санитарный генерал к ним собирается: госпиталь их уж больно образцовый.

Заверещал главный врач, - солдатики на койках промеж себя тихо удивляются:

тыловой начальник, доктор, а такая у него в голосе сила. Смотритель
трясется-вякает, толстая сестра насаждает, а дневальный из офицерской
палаты

знай свое лопочет про рапорт да подполковничье молоко.

Первым делом, бросился главный врач в офицерскую палату, голос умаслил,
пронзительно умоляет. Да, может, таракана кто ненароком с позиции в
чемодане

завез, он с дуру в молоко и сунулся. Будьте покойны, ласточка без спросу
мимо

их окна не пролетит. Что ж зря образцовый госпиталь рапортом губить!..

Шуршание тут пошло, чистка. Окна порасстегнули, койки на двор, тараканов
по всем углам шпарят, денатуральным спиртом углы мажут, яичек ихних,
однако,

не видно... Хрен их знает, откуль они такие годовалые завелись сразу. А их все
боле и боле: буру жрут, спирт пьют с полным удовольствием, - хочь бы что!..

А из кухни кашевар с ложкой вскачь: "Ваше скородие, весь лук в
тараканах!.. Прямо чистить нет возможности, сами на нож лезут".

Обробел тут главный, за голову схватился. Не переселение ли тараканов по
случаю войны из губернии в губернию началось. Приказал пока что к
офицерской

палате дневального сверхшатного со шваброй поставить, чтобы какой таракан
под

дверную щелку не прополз. С остальными прочими время терпит.

Скребут-чистят. Кое-как пообедали, каждый солдат прежде чем рот
раззявить,

в ложку себе смотрит: нет ли в кашке изюмцу тараканьего. Так и день прошел
в

мороке и топотне. Только в выздоравливающей палате, как в графской
квартире, -

тараканьей пятки нигде не увидишь.

К закату расправил Федор Лушников русые усы, вышел за дверь по
коридорному

бульвару прогуляться. Видит, за книжным шкафом притулился к косяку
смотритель,

пуговку на грудях теребит, румянец на лице желтком обернулся. Подошел к
нему

на бесшумных подошвах, в рукав покашлял. Смотритель, конечно, без внимания,
своя у него думка.

- Так и так, - докладывает Лушников, - не извольте, мол, ваше благородие грустить. Бог дал, Бог и взял!

- В присядку мне, что ли, плясать, чудака-человек? Да мне теперь перед ревизией в самую пору буры энтой тараканьей самому поест, а там пусть уж без
меня разбираются.

- Куды ж спешить! Бура от вашего благородия никуда не уйдет. А допреж того, вам всех тараканов в одночасье выведу, за полверсты от госпиталя ни одного не найдете.

Кинулся к нему смотритель, как к родному племяннику, чуть с копыт не сбил. Да ах ты, да ох ты!.. Да не жестко ли ему, Лушникову, спать? Да не охочь ли он до приватной водочки?..

Лушников лисьи эти хвосты отвел, сразу к делу приступает. Угодно, мол, от тараканьей пехоты избавиться, сделайте снисхождение, на три дня увольте, - хочь гласно, хочь негласно, - семейство свое повидать.

- Да ты не надуешь ли, яхонт, насчет тараканов? Нахвал денег не стоит... Ослобони, а там и разговор будет.

Лушникову что ж... В каком, говорит, помещении у вас главный завод?

Повел его смотритель в продуктовый склад, дверь распахнул, а там - как майские жуки под тополями, - так черная сила живым ключом и кипит, смотреть

даже смрадно. Солдат огарок черный, который ему мордвин в придачу дал, из рукава выудил, чиркнул спичкой, подымил корешком... Так враз все тараканы, будто сонное наваждение, и сгнули, - мордвин не какой-нибудь оказался.

В ту же минуту у смотрителя на личности желток румянцем так и заиграл.

- Ах ты, орел! - говорит.- Выведи на скорую руку по всем этажам, а там вали на все три дня. На свой страх тебя увольняю. Глаза у тебя ясные, русские,
не подведешь, вернешься!

Сует на радостях Лушникову сала да чаю. Тот, конечно, деликатно отказывается, да в рукав халатный прячет. Призадумался, однако, смотритель:

- Ты, братец мой, вижу я, дока: обмозгуй уж, присоветуй, как бы этак отлучки твоей никто не приметил... А то в случае чего жилы из меня главный наш
вымотает да на них же и удавит.

Усмехнулся Лушников.

- Зачем же этакое злодейство? Жилы каждому человеку нужны... Есть у меня в
Острове, рукой подать, миловидный брат. У купца Калашникова по хлебной части
служит. Близнецы мы с ним, как два полтинника одного года. Только он
глухарь
полный, потому в детстве пуговицу в ухо сунул, так по сию пору там и сидит, -
должно предвидел, чтобы на войну не брали... Вы уж, как знаете, его в Псков
предоставьте, - вместо меня в лучшем виде три дня рыбкой пролежит и не
хухнет. Чистая работа...

Взвился смотритель. Пока солдат по ночным палатам в тайности корешком
дымил, отрядил он помощника своего на интендантском грузовике в Остров.
Версты
кланяются, встречные кобылки на дыбки встают. Спешно, секретно, в
собственные
руки... Ночь знает, никому не скажет!

{ {***} }

Ходит главный врач журавлиным шагом по госпиталю, обход производит.
Часовому у денежного ящика ремень подтянул, во все углы носком сапога
достигает. Хоть бы один таракан для смеха попался: красота, чистота.
Утренний
свет на штукатурке поигрывает, на кухне котлы бурлят, кастрюли медью
прыщут,
хозяйственная сестра каклетки офицерские нюхает, белые полотенца на
сквознячке
лебедями раздуваются...

Взошел главный в выздоравливающую палату. Почему халат в ногах
конвертом

не сложен? Почему татарин у стенки рукавом нос утирает? С какой радости туфли под койкой носками врозь? Голос, однако ж, сдобный, строгости еще настоящей в себя не вобрал, шутка ли, от такой тараканьей язвы госпиталь избавился... Дошел до Лушникова, приостановился...

- Ты в какое место, сокол, ранен? Запомятовал я.

Лушников-близнец на койку сел, белыми ресницами хлопает:

- По хлебной, - говорит, - части...

- Что такое? Откудова дурак такой мухобойный объявился?

Сестрица востроглазая тут в разговор врезалась, удобрилась, как мачеха до пасынка:

- Не извольте, господин доктор, беспокоиться. Он с раннего утра все невпопад отвечает, заговаривается. Надо полагать, по семейству своему скучает.

- А, энто тот, что на три дня на побывку просился... Заговаривайся, друг, да не очень...

Глянул он тут в историю болезни, велит палатному надзирателю обернуть солдата дном кверху. Перевернули его, главный очки два раза протер, глазам не верит - ничего нет, прямо, как яичко облупленное.

- Ловко, - говорит, - у меня в госпитале работают... Надо бы тебя, красавца, сею же минуту на выписку, да уж оставлю до ревизии. Пусть санитарный генерал сам поглядит, как чисто у нас в образцовом ранения залечивают.

Больше и смотреть не стал, с сестрой пошутил, веселой походкой из палаты вышел и пошел в канцелярию требования на крупу-соль подписывать.

Работа между тем кипит. Смотритель с лица, как подгорелый солод стал. В команду новые медные чайники из цейгхауза волокут, а то из жестяных заржавленных пили. Санитаров стригут, портрет верховного начальника санитарной части тряпкой протерли, рамку свежим лаком смазали, - красота. На кухне блеск,

сияние. Кашеварам утром и вечером ногти просматривают, чтобы чернозема
этого
не заводилось, дежурного репертят насчет пробы пищи, да как отвечать, да
как
полотенце на отлете держать.

Три дня пролетело, - нет санитарного генерала, - не извозчик псковский, -
к любому часу не закажешь. Измаялись все: одну чистоту наведут, готовы
вторую.

Свежих больных-раненых подсыпят, опять скобли да вылизывай, - пустой
котел
блестит, полный - коптится.

Про Лушникова смотритель и не вспомнил, не такая линия. Однако ж он в
обещанный срок, как лук из земли, в вечерний час перед смотрителем черным
крыльцом вырос. Личико довольное, бабьим коленкором так от него и несет.
Вестовой доложил. Вызвали потаенно близнеца-брата, сменились они
одеждой,
поцеловались троекратно, - каждый на свое место: глухой на вокзал, Федор на
свою койку. Пирожок с луком исподтишка под подушку сунул, грызет -
улыбается.
Угтели его, стало быть, домашние по самое темя.

Только утром он из сонной мглы на белый свет вынырнул, слышит, парадные
двери хлоп-хлоп. Махальный, скрозь дверь видать, знак подал. Дежурный
ординатор с главным врачом шашками сцепились, чуть с мясом не вырвали.
Один
рапортует, другой сладким сахаром посыпает. Ведут... А в дальних покоях по
всем углам сестры сосновым духом прыскают, чтобы лазаретный настой
перешибить.

Обернулся генерал, выбрал себе точку, в выздоравливающую палату
направление держит.

Ну, главный врач сообразил, конечно, ежели первый блин густо намазать,
другие легче в горло пойдут. Подводит санитарного начальника к
лушниковской
койке, на два шага позади в позицию встал, докладывает:

- Случай, Ваше Превосходительство, необыкновенный... Солдат Лушников в
сидячее место ранение имел, до того здорово у нас его залечили, что и швов
не

видать. Будто кумпол гладкий, до того красиво вышло. Муха, и та не усидит. Извольте взглянуть.

Генерал, само собой, интересуется. Перекувырнули Лушникову, оголили ему Нижний-Новгород, главный врач так и ахнул. Не крой лаком, завтра строгать...

Рубец пунцовый во всю полосу, будто сосиска, вздулся. Опасности никакой, а знак отличия полный, лучше не надо.

Вот тебе и намаслил... Нахохлился генерал, хмыкнул в перчатку и бессловесно в коридор вышел. Главный за ним, - только кулак за спиной Лушникову показал. Сестрица валерьяную пробку нюхает... Подбелил солдат
щи
дегтем, нечего сказать!..

Что там дальше было - Лушникову неизвестно, а только через малое время крестный ход энтот назад потянулся: генерал кислый, шашку волочит, главный
врач за ним халатную тесемку покусывает, - сладка, надо быть. Смотритель в самом хвосте, - будто два невидимых беса под мышки его в котел волокут...

Обедать однако ж надо, - и святые закусывают. Только это выздоравливающие за перловый суп принялись, сестрица впархивает да прямо к Лушникову с сюрпризом:

«Собирайся, милый человек, на выписку. Главный врач распорядился
перышко
тебе немедленно вставить, - нечего лодырей держать, которые начальство
почем
зря морочат!"

Встряхнулся солдат, ему что ж! Рыбам море, птицам воздух, а солдату отчизна - своя часть. Не в родильный дом приехал, чтобы на койке живот прохлаждать... Веселый такой пирожок свой с луком - почитай восьмой - доел, крошки в горсть собрал, а рот бросил и на резвые ноги встал.

- Спасибо, сестрица, за хлеб, за соль, за суп, за фасоль. Авось Бог не приведет в другой раз белое тело живопырным швом у вас зашивать... Слушок есть, что к Рождеству немцу капут, женщин у них уже будто малокровных в артиллерию брать стали. А с бабами много ли настреляешь...

Однако сестрица от койки не отходит, вертится. Очень ей по ученой части интересно, как солдат то гладкий был, то вдруг рубец у него наливным алым перцем с исподу опять засиял. Как, мол, такое, Лушников, могло произойти?

Ему что ж скрывать, не католик какой-нибудь.

- Ничего, - говорит, - денатурального, сестрица, в том нет. Третьего дня, как меня ваш главный обернул, я по деликатности воздух в себя весь вобрал, вся

кровь в меня и втянулась, ни швов, ни рубцов. А сегодня запомнил, вот ошибочка и вышла. Уж не взыщите, сестрица. Корова быка доила, да все пролила.

Всякое на свете бывает!..